

DOI: 10.31857/S241377150014008-1

“Братья Карамазовы” и “Сон смешного человека” (к вопросу об автоинтертекстуальности у позднего Достоевского)

© 2021 г. С. А. Кибальник

Доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник Института русской литературы
(Пушкинского Дома) РАН,
Россия, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4
kibalnik007@mail.ru

Дата поступления материала в редакцию 9 апреля 2020 г.

Дата публикации: 28 февраля 2021 г.

Резюме. До настоящего времени не было замечено, что “фантастический рассказ” Достоевского “Сон смешного человека” (1877) в латентной форме содержит едва ли не все центральные темы романа “Братья Карамазовы” (1878–1880). Своим равнодушием к судьбам других людей герой этого рассказа напоминает Ивана Карамазова. При этом, в отличие от “Сна смешного человека”, в последнем романе Достоевского детально прослежено, как герой-интеллектуал неосторожно заражает мыслью о том, что “все позволено”, носителя “простого сознания” — Смердякова, и к каким катастрофическим последствиям это приводит. Увиденный во сне идеальный мир переворачивает душу “смешного человека”, не только избавляя его от экзистенциального равнодушия, но и превращая его в проповедника деятельного самоотвержения. Этим герой как бы предвещает мысль старца Зосимы о значении “опыта деятельной любви”. Наконец, бросается в глаза и родство “смешного человека” с Алешей Карамазовым, которого многие в романе также воспринимают как “чудака” или “юродивого”. Итак, в “Сне смешного человека” можно видеть своего рода художественно-идеологическое зерно “Братьев Карамазовых”. Проясняя смысл итогового произведения Достоевского, его “фантастический рассказ” при сопоставлении с ним становится понятнее для нас и сам по себе. И в этом смысле он может послужить основой для научной интерпретации романа.

Ключевые слова: Достоевский, “Братья Карамазовы”, “Сон смешного человека”, автоинтертекстуальность, интерпретация, сквозные темы, повторяющиеся мотивы.

Для цитирования: Кибальник С.А. “Братья Карамазовы” и “Сон смешного человека” (к вопросу об автоинтертекстуальности у позднего Достоевского) // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2021. Т. 80. № 1. С. 62–70. DOI: 10.31857/S241377150014008-1.

“Brothers Karamazov” and “The Dream of a Ridiculous Man” (on the Issue of Auto-Intertextuality of the Late Dostoevsky)

© 2021 Serguei A. Kibalnik

Doct. Sci. (Philol.),
Leading Researcher at the Institute of Russian Literature
(the Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences,
4 Makarov Embankment, St. Petersburg, 199034, Russia
kibalnik007@mail.ru

Received by Editor on April 9, 2020

Date of publication February 28, 2021

Abstract. Until now, it has not been noticed that Dostoevsky’s “fantastic story” “The Dream of a Ridiculous Man” (1877), in latent form, contains almost all the central themes of the novel “The Brothers Karamazov” (1878–1880). With his indifference to the fate of other people, the hero of “The Dream of a Ridiculous Man” resembles Ivan Karamazov. Moreover, unlike “The Dream of a Ridiculous Man”, Dostoevsky’s latest novel traces in detail how the intellectual hero inadvertently infects with the idea that “everything is allowed”, the representative of the “simple consciousness” — Smerdyakov, and what catastrophic consequences this leads to. This, as it were, foreshadows the thought of Elder Zosima about the meaning of “the experience of active love”. Finally, the kinship of the “ridiculous man” with Alyosha Karamazov, which is also perceived by many in the novel as “an eccentric” and even a “holy fool”, is striking. Thus, in “The Dream of a Ridiculous Man” one might recognize a kind of artistic and ideological kernel of the “Brothers Karamazov”. By helping to clarify the meaning of the final work of Dostoevsky, his “fantastic story”, through this comparison, becomes clearer for us in itself. In this respect, the story can serve as a starting point for a scholarly interpretation of the novel.

Key words: Dostoevsky, “Brothers Karamazov”, “The Dream of a Ridiculous Man”, auto-intertextuality, interpretation, threading themes, recurring motives.

For citation: Kibalnik, S.A. “*Bratya Karamazovy*” i “*Son smeshnogo cheloveka*” (k voprosu ob avtointertekstualnosti u pozdnego Dostoyevskogo) [“Brothers Karamazov” and “The Dream of a Ridiculous Man” (on the Issue of Auto-Intertextuality of the Late Dostoevsky)]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2021, Vol. 80, No. 1, pp. 62–70. (In Russ.) DOI: 10.31857/S241377150014008-1.

Явление автоинтертекстуальности — не просто важная составляющая часть историко-литературного комментария к литературному произведению. Рассмотренное не на микро-, а на макроуровне (как общность основных художественных тем писателя), оно может стать основой для его научной интерпретации. Более короткие и простые произведения могут прояснять смысл более пространных и амбивалентных творений писателя, при этом становясь понятнее для нас самих. Выявление общих тем и мотивов — в особенности в произведениях, относящихся к одному и тому же периоду творчества писателя, — позволяет обнаружить существенные моменты в развитии его художественного мышления.

“Братья Карамазовы” — итоговый и синтетический роман Достоевского: в нем сходятся сюжетные линии многих других произведений Достоевского и, соответственно, многие их претексты. В основе этого романа лежит основная идея “социального христианства”, не раз повторенная Достоевским в его творчестве: от “Зимних заметок о летних впечатлениях” и “Записок из Мертвого дома” до “Бесов” и “Подростка” (см.: [1]). Это идея о том, что для преобразования мира необходимы не социальные революции, а внутреннее перерождение человека, и что для того, чтобы осуществилось “братство” между людьми, нужно, чтобы каждый человек относился к “другому” как к брату. Чтобы проверить, так ли обстоит дело на самом деле, Достоевский на сей

раз избирает в качестве своих героев кровных братьев. Логика здесь простая: давайте прежде всего посмотрим, относятся ли в настоящее время в России хотя бы настоящие, кровные братья друг к другу как братья.

При этом писатель берет три своих излюбленных типа, уже не раз изображенных им в его предыдущих произведениях. Страстно влюбленный Дмитрий представляет собой развитие таких героев Достоевского, как Алексей Иванович из “Игрока” и, несколько парадоксальным образом, Свидригайлов из “Преступления и наказания”. Алеша — безусловно, своего рода реинкарнация князя Мышкина и соответственно Егора Ростанева из “Села Степанчиково...” (см.: [2]). Иван же наследует наиболее трагическим героям Достоевского, стремящимся к разрешению “идеи”: Раскольникову и Кириллову, в какой-то степени и Ставрогину (“Бесы”), и герою очерка Достоевского “Приговор”, вошедшего в “Дневник писателя на 1876 год” [3, т. 23, с. 146–148].

Сюжетная линия сына и отца, влюбленных в одну и ту же женщину, ранее была одной из основных в “Подростке”. В “Братьях Карамазовых” она представлена в более заостренном и драматичном варианте соперничества и даже поединка, так что отдельные страницы романа написаны по канве пушкинского “Скупого рыцаря”. Линия “Дмитрий — Грушенька — купец Самсонов — Федор Павлович” в сниженном, демократическом варианте воспроизводит

центральную коллизию “Дамы с камелиями” Александра Дюма-сына, которая ранее сходным образом уже отозвалась в романе Достоевского “Идиот” (см.: [4, с. 123, 127]). Аналогичным образом линия “Грушенька — Катерина Ивановна” соотносится с линией “Настасья Филипповна — Аглая”. Эти примеры могут быть умножены.

1.

Значительные автоинтертекстуальные связи объединяют роман “Братья Карамазовы” с другими предшествующими его созданию произведениями писателя. Так, например, до настоящего времени не было замечено, что “фантастический рассказ” Достоевского “Сон смешного человека”, вошедший в апрельский выпуск “Дневника писателя на 1877 год”, в латентной форме содержит едва ли не все центральные темы романа “Братья Карамазовы” (1878–1880)¹. В этом смысле он может послужить основой для научной интерпретации романа.

Герой этого рассказа — человек развитого сознания, в душе которого нарастает “страшная тоска”, навевая “постигшим его” “убеждением в том, что на свете везде *все равно*”. Герой “Записок из подполья” (1863) на вопрос: “Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?” — отвечал: “Я скажу, что *свету провалиться*, а чтоб мне чай всегда пить” [3, т. 5, с. 174; здесь и далее курсив мой. — С.К.]. Героем “Сна смешного человека” (1877) не владеет даже и идея собственного благополучия: “Я вдруг почувствовал, что *мне все равно было бы, существовал ли бы мир* или если б нигде ничего не было” [3, т. 25, с. 104]². Подобно Ставрогину и герою “Приговора”³, он неотвратимо подходит к мысли о самоубийстве.

¹ Впрочем, М.М. Бахтин даже видел в этом рассказе “почти полную энциклопедию ведущих тем Достоевского” [5, с. 422], а П. Воге полагал, что в нем “собраны нити всех больших романов писателя” [6, с. 194–195].

² Как справедливо отмечает В. Катаонов, «...герой “Сна” несколько духовно старше: если тон подпольного человека более публицистичен, он обращен к окружающим, он стремится преодолеть их аргументы своими аргументами, он стремится найти какие-то контакты с окружающими, то герой “Сна” (до своего перерождения) уже “подустал”, и психологически, и духовно, — никому ничего доказать нельзя, всегда все равно, и он в основном молчит в обществе товарищей...» [7, с. 197].

³ Бахтин и за ним многие другие сближали героя “Сна смешного человека” с другим героем “Бесов” — Кирилловым [5, с. 425] (см. также, например: [8, с. 43]). Однако Кириллову совсем несвойственно “универсальное равнодушие”, которое Бахтин справедливо отмечает в “смешном человеке”.

От самоубийства героя рассказа спасает сон, в котором он его будто бы совершает, после чего какое-то неизвестное ему существо переносит его на другую планету, очень похожую на Землю. Планета эта оказывается, однако, “землей, не оскверненной грехопадением”, населенной “счастливыми” людьми, “не согрешившими”, то есть не вкусившими еще от “древа познания добра и зла” и не знающими “страдания”. Герой рассказа в полной мере наслаждается любовью этих людей и в свою очередь “обожает” их. Понимая, что все равно “они никогда не поймут” его, он “почти и не говорил им о нашей земле” [3, т. 25, с. 112–113]. И тем не менее, парадоксальным образом как-то само собой происходит, что эти люди все же переживают “грехопадение”. Причем у героя возникает ясное ощущение того, что “причиной грехопадения”, после которого ими овладевают все присущие обычным людям страсти, порождающие многочисленные и разнообразнейшие грехи, был он сам: “Я... развратил их всех” [3, т. 25, с. 115].

Своим равнодушием к судьбам других людей герой “Сна смешного человека” предвещает Ивана Карамазова, который по поводу перспективы убийства Дмитрием Федора Павловича равнодушно роняет: “Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!” [3, т. 14, с. 129]. Причем это “равнодушие” обнаруживается в Иване с самого начала, еще в рассказе о посещении его вместе со всем его семейством старца Зосимы. Реакция Ивана на “шутовство” Федора Павловича явлено в романе через восприятие Алеши: “Всего страннее казалось ему то, что брат его, Иван Федорович, единственно на которого он надеялся и который один имел такое влияние на отца, что мог бы его остановить, сидел теперь совсем неподвижно на своем стуле, опустив глаза и по-видимому с каким-то любопытством ожидал, чем это все кончится, *точно сам он был совершенно тут посторонний человек*” [3, т. 14, с. 40]. Сходным образом проявляет себя Иван и в рассказе Лизы о вычитанной ею мучительной смерти мальчика на кресте: “Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть” — и о реакции на этот ее рассказ Ивана: “Он вдруг засмеялся и сказал, что это в самом деле хорошо” [3, т. 15, с. 24].

Преступное равнодушие Иван проявляет и накануне убийства Федора Павловича

в разговоре со Смердяковым: “— Совершенно верно-с... — пробормотал уже пресекавшимся голосом Смердяков, гнусно улыбаясь и опять судорожно приготовившись вовремя отпрыгнуть назад. Но Иван Федорович вдруг, к удивлению Смердякова, *засмеялся и быстро прошел в калитку, продолжая смеяться*” [3, т. 14, с. 250]. Так что совсем не безосновательно Смердяков заявляет Ивану в финале романа: “А вот вы-то и убили, коль так” [3, т. 15, с. 59], “...про убийство вы знали-с и мне убить поручили-с, а сами, все знавши, уехали. Потому и хочу вам в сей вечер это в глаза доказать, что *главный убийца во всем здесь единый вы-с*, а я только самый не главный, хоть это и я убил” [3, т. 15, с. 63], “*всё потому, что “всё позволено”. Это вы вправду меня учили-с*, ибо много вы мне тогда этого говорили: ибо коли бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе» [3, т. 15, с. 67].

В отличие от “Сна смешного человека”, в последнем романе Достоевского детально прослежено, как герой-интеллектуал неосторожно заражает мыслью о том, что “все позволено”, носителя “простого сознания” — Смердякова, и к каким катастрофическим последствиям это приводит. В коротком “фантастическом рассказе” Достоевского то, как герой “развратил их всех” [3, т. 25, с. 115], так и остается неясным, а утратившие былую непорочность люди отнюдь не обвиняют его в этом. Напротив, они оправдывают “смешного человека”, говоря, что “получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть” [3, т. 25, с. 117]. Однако сам герой “Сна...” склонен думать иначе: “Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я *заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю*. <...> Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один, что *это я им принес разврат, заразу и ложь!* Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте...” [3, т. 25, с. 117]. Муки самобичевания Ивана Карамазова ничуть не меньше — разве что обращает он их только к самому себе.

И все же в финале романа Алеша не зря провидит воскресение души Ивана, аналогичное тому, которое происходит со “смешным человеком” после увиденного им сна: «Ему становилась понятною болезнь Ивана: “Муки гордого решения, глубокая совесть!” Бог,

которому он не верил, и правда его одолевала сердце, всё еще не хотевшее подчиниться. “Да, — неслось в голове Алеши, уже лежавшей на подушке, — да, коль Смердяков умер, то показанию Ивана никто уже не поверит; но он пойдет и покажет! — Алеша тихо улыбнулся: — *Бог победит!* — подумал он. — Или *восстанет в свете правды*, или... погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит”, — горько прибавил Алеша и опять помолился за Ивана» [3, т. 15, с. 89].

2.

Увиденный во сне идеальный мир переворачивает душу “смешного человека”, не только избавляя его от экзистенциального равнодушия, но и превращая его в проповедника деятельного самоотвержения: “Главное — *люби других, как себя*, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо” [3, т. 25, с. 118–119]. Это как бы предвещает мысль старца Зосимы о значении “опыта деятельной любви”: “Постарайтесь *любить ваших ближних* деятельно и неустанно” [3, т. 14, с. 52].

То, что в рассказе дано лишь общими формулами, получает в “Братьях Карамазовых” детальное развитие. “Спасительную” программу сновидца старец Зосима обосновывает гораздо более подробно: “Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства” [3, т. 14, с. 275]. При этом его убежденность и вслед за ним убежденность отца Паисия: “Образ Христов храним, и воссияет как драгоценный алмаз всему миру... *Буди, буди!*”, “*Сие и буди, и буди!*”, “*Буди! буди!*” [3, т. 14, с. 287, 58, 61] — напоминает решимость “смешного человека” в финальных строках рассказа: “*И пойду! И пойду!*” [3, т. 25, с. 119].

Литературная автопрототипичность “смешного человека” по отношению к Зосиме особенно явственно проступает в разделе “Из жизни в бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы...”, озаглавленном “Воспоминание о юности и молодости старца Зосимы еще в миру. Поединок”. В ней молодой Зосима, парадоксальным образом напоминающий Дмитрия Карамазова, в один прекрасный день преобразается в “нового человека”. При этом когда Зосима отказывается от дуэли, подает в отставку и объявляет о своем намерении постричься в монахи, окружающие начинают

воспринимать его сходным образом с тем, как воспринимали окружающие “смешного человека”: “Вот я раз в жизни взял да и поступил искренно, и что же, стал для всех вас точно юродивый: хоть и полюбили меня, а *все же надо мной, говорю, смеетесь*” [3, т. 14, с. 273]. Аналогичная солидарность с людьми вроде “смешного человека” звучит и в словах “таинственного посетителя”: “...Хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, *хотя бы даже в чине юродивого*” [3, т. 14, с. 276].

В этом плане отношение окружающих к “смешному человеку” напоминает восприятие брата Зосимы Маркела его доктором: «“Милые мои, чего мы ссоримся, друг перед другом хвалимся, один на другом обиды помним: прямо в сад пойдем и станем гулять и резвиться, друг друга любить и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять”. — “Не жилец он на свете, ваш сын, — промолвил доктор матушке, когда провожала она его до крыльца, — *он от болезни впадает в помешательство*”» [3, т. 14, с. 262]. Ср. начальные строки рассказа Достоевского: “Я смешной человек. *Они меня называют теперь сумасшедшим*. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде” [3, т. 25, с. 104].

Впрочем, по сравнению со “Сном смешного человека” в “Братьях Карамазовых” уже находятся люди, способные правильно оценить поступок героя, идущий в противоречие с принятыми в обществе нормами: — “Да как вас такого не любить?” — смеется мне вслух хозяйка, а собрание у ней было многолюдное. Вдруг, смотрю, подымается из среды дам та самая молодая особа, из-за которой я тогда на поединок вызвал и которую столь недавно еще в невесты себе прочил, а я и не заметил, как она теперь на вечер приехала. Поднялась, подошла ко мне, протянула руку: “Позвольте мне, говорит, изъяснить вам, что *я первая не смею над вами, а, напротив, со слезами благодарю вас и уважение мое к вам заявляю за тогдашний поступок ваш*”» [3, т. 14, с. 273].

“Смешным человеком” владеет твердое убеждение в том, что для осуществления рая на земле необходим внутренний переворот в душе всех людей: “Больше скажу: пусть, пусть это никогда и не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!), — ну, а я все-таки буду проповедовать. А между

тем так это просто: *в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось!* <...> И буду” [3, т. 25, с. 119]. Сходное ощущение высказывает в “Братьях Карамазовых” “таинственный посетитель”: “Рай, говорит, в каждом из нас затаен, вот он теперь и во мне кроется, и, захочу, *завтра же настанет он для меня в самом деле и уже на всю мою жизнь*. <...> Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства” [3, т. 14, с. 275].

Особенно сближает “смешного человека” со старцем Зосимой и с некоторыми его идейными “двойниками” в романе (брат Маркел, “таинственный посетитель”) одновременное сознание того, как просто можно было бы устроить рай на земле, понимание того, что, тем не менее, это произойдет нескоро, и несмотря на это, убежденное намерение послужить его осуществлению. Аналогично убеждение “таинственного посетителя” из “Братьев Карамазовых”: “Знайте же, что несомненно *сия мечта*, как вы говорите, *сбудется*, тому верьте, но не теперь, ибо на всякое действие свой закон. Дело это душевное, психологическое. Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы *люди сами психически повернулись на другую дорогу*” [3, т. 14, с. 275]. Ср. в “Сне смешного человека”: “Если только *все захотят*, то сейчас *все устроится*” [3, т. 25, с. 119].

Изображение “смешным человеком” “земли, не оскверненной грехопадением”, естественно, включает в себя и черты того осуществленного “рая на земле”, который проповедует Зосима. Ср. в “Сне смешного человека”: “*Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью*” [3, т. 25, с. 113], — и в “Братьях Карамазовых”: “Любите все создание божие, и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч божий любите. *Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну божью постигнешь в вещах*” [3, т. 14, с. 289].

Как будто услышав призыв будущего старца Зосимы: “*Землю целуй* и неустанно,

ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и иступления сего” [3, т. 14, с. 292] — герой рассказа Достоевского рассказывает про себя на счастливой планете: “Я лишь *целовал при них ту землю*, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами...” [3, т. 25, с. 113].

В подготовительных материалах к роману, относящихся к безразличию, которое “смешной человек” проявил по отношению к девочке на улице, есть запись:

Человек вообще. Тем менее я люблю людей в частности.

До страстных мечтаний о подвигах, и я бы, может быть, даже крест перенес за людей.

Слышал поблизости <?>. Я не мог бы жить в одной квартире.

Я двух дней не проживу с кем-нибудь в одной комнате [3, т. 25, с. 232].

К.А. Степанян справедливо увидел в ней «повторение важной для Достоевского мысли о гордых идеологах-“человеколюбцах”, любящих человечество и не умеющих любить ближнего» [9, с. 70]. В “Братьях Карамазовых” эта мысль напоминает аналогичное признание госпожи Хохлаковой и некоего “доктора”, о котором рассказывает старец Зосима: “Я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на себя самого: чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человечеству *и, может быть, действительно пошел бы на крест за людей*, если б это вдруг как-нибудь потребовалось, а между тем я *двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате*, о чем знаю из опыта. <...> Зато всегда так происходило, что чем более я ненавидел людей в частности, тем пламеннее становилась любовь моя к *человечеству вообще*” [3, т. 14, с. 53].

3.

Бросается в глаза и родство “смешного человека” с Алешей Карамазовым. Неслучайно уже в предисловии к “Братьям Карамазовым” о нем сказано: “Одно, пожалуй, довольно несомненно: это человек странный, даже *чудак*”. И тут же подчеркнуто: “...Бывает так, что он-то <т.е. “чудак”. — С.К.>, пожалуй и носит в себе иной раз сердцевицу целого...” [3, т. 14, с. 5]. И далее эта черта подчеркивается в Алеше на протяжении всего

повествования о нем: “Впрочем, я не спорю, что был он и тогда уже очень странен, *начав даже с колыбели*” [3, т. 14, с. 18]. То же самое ощущает на себе и герой “Сна смешного человека”: “Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, *с самого моего рождения*” [3, т. 25, с. 104].

Как и “смешной человек”, Алеша еще со школьных лет “именно был *из таких детей, которые возбуждают к себе* недоверие товарищей, иногда *насмешки*, а пожалуй, и ненависть. Он, например, задумывался и как бы отъединялся” [3, т. 14, с. 19]. Ср. в “фантастическом рассказе” Достоевского: “Может быть, я уже *семи лет* знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете и что же — чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я *смешон*” [3, т. 25, с. 104].

Повествователь “Братьев Карамазовых” замечает об Алеше, что “всякий чуть-чуть лишь узнавший его тотчас, при возникшем на этот счет вопросе, становился уверен, что Алексей непременно *из таких юношей вроде как бы юродивых...*” [3, т. 14, с. 20]. Герой “Сна смешного человека”, начав требовать от обитателей счастливой планеты, чтобы они распяли его на кресте за то, что он “развратил их всех”, констатирует: “Но они лишь смеялись надо мной и *стали меня считать под конец за юродивого*” [3, т. 25, с. 117].

И Алеша, и Зосима связаны со “смешным человеком” и в целом ряде других моментов. Все эти герои воплощают собой инвариант “чудака”, “смешного человека” и мнимого “юродивого”, ранее представленный в образе князя Мышкина.

Перспектива превращения в такого вот “юродивого” и “смешного” человека ясно очерчена в романе даже для Дмитрия. Недаром в его признании Алеше в произошедшем в нем перевороте в тюрьме также очерчена установка на высокое страдальчество и проповедничество: «Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, *воскрес во мне новый человек!* Был заключен во мне, по никогда бы не явился, если бы не этот гром. <...> другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землею, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать

за ним годы и *выбить наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя!* А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты! Зачем мне тогда приснилось “дитё” в такую минуту? *“Отчего бедно дитё?”* Это пророчество мне было в ту минуту! *За “дитё” и пойду*» [3, т. 15, с. 31]. Решимость пострадать за ближних своих Дмитрия Карамазова в финальных главах романа отчетливо перекликается с последними строками “Сна смешного человека”: “А ту маленькую девочку я отыскал... *И пойду! И пойду!*” [3, т. 25, с. 119].

В первую очередь Алеше, хотя в какой-то степени и Ивану, передана и другая мысль “смешного человека”:

— Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь... Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинеи, Алешка, аль нет? — засмеялся вдруг Иван.

— Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. — Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

— *Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?*

— Непременно так, *полюбить прежде логики*, как ты говоришь, непременно чтобы *прежде логики*, и тогда только я и смысл пойму [3, т. 14, с. 210].

Между тем “высший урок”, который “смешной человек” “выучил через страдание”, состоит в том, что требования жизни должны быть *прежде требований рассудка и сознания*. «“Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья — вот с чем бороться надо!” — замечает смешной человек в решающих заключительных строках рассказа, и его слова — отзвук основной мысли Достоевского» [10, с. 214]. Нельзя не признать эту параллель исследователя более чем правомерной.

4.

Отмеченная повторяемость мотивов в двух названных произведениях чрезвычайно важна для понимания их обоих. По справедливому замечанию К.А. Степаняна, рассуждение черта из “Братьев Карамазовых”: “Страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие: все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, да скучновато” [3, т. 15, с. 77] — может послужить ключом к пониманию того, почему жизнь на счастливой планете в конце концов перестает удовлетворять людей: «Не напоминает ли жизнь людей на “планете Солнца”, увиденная

“смешным” по прибытии туда, “один сплошной молебен”? Да, “дети Солнца” были счастливы и скуки не испытывали, но счастье это, не включающее в себя знания о страдании, было *чревато скукой*» [9, с. 81].

К.А. Степанян также напоминает о том, что «после своего сна, даровавшего ему Истину, “смешной человек” думает так же, как зараженные трихинами люди из апокалиптического сна Раскольникова на каторге: “Они (окружающие его люди. — К.С.) не знают Истины. Ох, как тяжело одному знать Истину”. — сравним: “Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучился, глядя на других...”. В чем различие Истины “смешного” и истин “зараженных”? В том, что их истины — для каждого своя, а его — единая, спасительная для всех, лежащая в основе мироздания Истина? Но откуда тогда у “смешного” такая уверенность в своей исключительности? Знающим Истину подобное несвойственно» [9, с. 65]. Тем самым он присоединяется к ряду современных исследователей, которые склонны не доверять декларациям героя об увиденном им во сне “откровении”, и в особенности тому, что его убежденное проповедничество в финале рассказа легимитировано его автором как такое, которое ведется с позиций действительно обретенной истины.

«После своего сна, — обосновывает далее свою точку зрения К.А. Степанян, — “смешной” утверждает: “Не могу и не хочу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей”. А в июльско-августовском выпуске “Дневника писателя” за тот же 1877 г. читаем: “Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем полагают лекаря-социалисты, что **ни в каком устройстве общества** не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой”. И опять могут возразить: эти слова Достоевского относятся к послегрехопадному человечеству, а “смешной” видел другое. Но почему тогда не “дети Солнца” сделали “смешного” подобным себе, а он развратил их всех? Потому что это *его сон*? Или потому, что “зло таится в человечестве глубже...”?» [9, с. 75–76].

Но ведь приведенные исследователем слова Достоевского сказаны им в полемике с социалистами. Смысл их в том, что переустройством общества зла избежать невозможно, потому что “ненормальность и грех исходят

из нее самой”, то есть из души человеческой. Однако это все же не значит, что избежать зла по Достоевскому совершенно невозможно. Просто для этого нужно переустройство не общества, а человека, и потому в мгновение ока это произойти не может. Вот какую мысль проводит Достоевский всем строем своих поздних произведений, как бы иллюстрируя ими положения своего “русского социализма” (см.: [3, т. 27, с. 19]), который представляет собой разновидность “социального христианства” (см.: [1]).

Складывается впечатление, что современная литературоведческая мысль нередко блуждает в поисках мнимых сложностей, не в силах преодолеть постбахтинскую традицию преувеличения амбивалентной природы русской классики XIX века. При этом, как правило, недооценивается связь созданных тем же Достоевским творений с его личностью и пройденным писателем долгим путем.

Детальное проследивание внутреннего сродства Зосимы, Алеши и даже Ивана со “смешным человеком” позволяет вычленить некоторые сквозные мотивы и, соответственно, узловые моменты в становлении у позднего Достоевского как концепции христианского обновления мира, так и особенностей ее художественного воплощения. При таком сопоставлении становится более понятно, почему христианская сотериология писателя, тесно соприкасаясь с соловьевским и славянофильским идеалами «вселенской Церкви» (см.: [1]), одновременно обнаруживает свой вполне земной и гуманистический характер. Вопреки авторитетному мнению М.М. Бахтина, господствует в “Сне...” не “античный”, а “христианский дух” [5, с. 421]. Понять содержание этого “фантастического рассказа” можно только с учетом художественного переосмысления Достоевским христианских концептов “грехопадения”, “искупления”, “земного рая” и “спасения”.

5.

“Кто имеет сказать слово, то пусть говорит, не боясь, что его не послушают, *не боясь даже того, что над ним насмеются*”, — заявляет Достоевский на первых страницах “Дневника писателя на 1877 год”, и эта его идея варьируется в нем на разные лады неоднократно (см.: [3, т. 25, с. 6, 57, 128, 129, 131]). Между тем, когда писатель только собирался издавать это свое новое издание, то, как свидетельствует Вс.С. Соловьев, со всех сторон раздавался

«...заранее подписанный приговор “Дневнику писателя” со стороны “представителей всевозможных редакций, людей самых различных взглядов”. Когда же первый выпуск издания вышел “и сразу произвел сильное впечатление, раскупался нарасхват”, то “даже газеты позабыли о “сумасшедшем”, “маньяке”, “изменнике” и заговорили в благоприятном тоне» [11, с. 218–219]. Так что позиция “смешного человека”, не боящегося провозгласить истину, несмотря ни на что и независимо от того, как она будет воспринята, во второй половине 1870-х годов была в высшей степени присуща самому Достоевскому. Недаром в “Сне смешного человека” немало автобиографических моментов (из них пока что отмечены лишь наиболее очевидные (см., например: [10, с. 200]).

Когда где-то как раз в середине 1870-х годов В.В. Тимофеева-Починковская сообщила Достоевскому свои впечатления от только что прочитанных ею “Записок из подполья”, писатель ответил ей: “Слишком уж мрачно. Es ist schon ein uberwindender Standpunkt⁴. Я могу теперь написать более светлое, примиряющее” [11, с. 186]. По-видимому, такое “более светлое, примиряющее” он в самом деле написал, и это были как раз “Сон смешного человека” и “Братья Карамазовы”, которые мемуаристка, возможно, неслучайно упоминает на соседних страницах своих воспоминаний [11, с. 181].

Итак, в “Сне смешного человека” можно видеть своего рода художественно-идеологическое зерно “Братьев Карамазовых”. Проясняя смысл итогового произведения Достоевского, его “фантастический рассказ” при сопоставлении с ним становится понятнее для нас и сам по себе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кибальник С.А. Идеал “вселенской Церкви” в “Братьях Карамазовых” (Ф.М. Достоевский и Вл.С. Соловьев) // Русская литература и философия: пути взаимодействия. Вып. 2. Литература и религиозно-философская мысль конца XIX – первой трети XX в. К 165-летию Вл. Соловьева / Отв. ред. и сост. Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2018. С. 272–286.
2. Кибальник С.А. Вопросы автоинтертекстуальности в романе Достоевского “Идиот” //

⁴ “Это уже преодоленная точка зрения” (пер. с нем.).

- Достоевский и мировая культура. Альманах № 36. СПб.: Серебряный век, 2018. С. 56–74.
3. Достоевский Ф.М. Полн. собр. сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
 4. Кибальник С.А. Морфология романа Достоевского и современные проблемы теории интертекстуальности // Кибальник С.А. Чехов и русская классика. Проблема интертекста. СПб.: Петрополис, 2015. С. 115–131.
 5. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Изд-во “Э”, 2017. С. 220–612.
 6. Воге П. Люцифер Достоевского. О рассказе “Сон смешного человека” // Достоевский и мировая культура. Альманах № 13. СПб.: Серебряный век, 1999. С. 185–204.
 7. Катасонов В. Религиозные аспекты рассказа Ф.М. Достоевского “Сон смешного человека” // Достоевский и мировая литература. Альманах № 30. Ч. I. М.: Общество Достоевского. Московское отделение, 2013. С. 191–218.
 8. Туниманов В.А. Сатира и утопия (“Бобок”, “Сон смешного человека” Ф.М. Достоевского) // Туниманов В.А. Лабиринт сцеплений: избранные статьи. СПб.: Пушкинский Дом, 2013. С. 39–60.
 9. Степанян К.А. Загадки “смешного человека” // Достоевский и мировая культура. Альманах № 32. СПб.: Серебряный век, 2014. С. 63–83.
 10. Джексон Р. Смешной человек — после Дон Кихота // Джексон Р. Искусство Достоевского. Бреды и ноктюрены. М.: Радикс, 1998. С. 209–220.
 11. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1990. Т. 2. 623 с.
- Dostoyevsky i mirovaya kultura* [Dostoevsky and the World Culture]. St. Petersburg, 2018, No. 36, pp. 56–74. (In Russ.)
3. Dostoevsky, F.M. *Polnoye sobraniye sochineniy v 30 t.* [Complete Works in 30 Volumes]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)
 4. Kibalnik, S. *Morgologiya romanov Dostoyevskogo i sovremennyye problemy intertekstualnosti* [Morphology of Dostoevsky’s Novel and the Modern Issues of Intertextual Theory]. Kibalnik, S. *Chekhov i russkaya klassika. Problema interteksta* [Chekhov and Russian Classics. The Issues of Intertext]. St. Petersburg, Petropolis Publ., 2015, pp. 115–131. (In Russ.)
 5. Bahtin, M.M. *Problemy poetiki Dostoyevskogo* [The Issues of Dostoevsky’s Poetics]. Bahtin, M.M. *Problemy poetiki Dostoyevskogo* [The Issues of Dostoevsky’s Poetics]. Moscow, 2017, pp. 220–612. (In Russ.)
 6. Voge, P. *Liucifer Dostoyevskogo. O rasskaze “Son smeshnogo cheloveka”* [Dostoevsky’s Lucifer. On the story “The Dream of a Ridiculous Man”]. *Dostoyevsky i mirovaya kultura* [Dostoevsky and the World Culture]. St. Petersburg, 1999, No. 13, pp. 185–204. (In Russ.)
 7. Katasonov, V. *Religioznye aspekty rasskaza F.M. Dostoyevskogo “Son smeshnogo cheloveka”* [Religious Aspects of Dostoevsky’s Story “The Dream of Ridiculous Man”]. *Dostoyevsky i mirovaya kultura* [Dostoevsky and the World Culture]. St. Petersburg, 2018, No. 30, Part 1, pp. 191–218. (In Russ.)
 8. Tunimanov, V.A. *Satira i utopiya (“Bobok”, “Son smeshnogo cheloveka”)* [Satire and Utopia (“Bobok” and “The Dream of a Ridiculous Man”)]. Tunimanov, V.A. *Labirint scepleniy. Izbr. statii* [Clutch Labyrinth. Featured Articles]. St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2013, pp. 39–60. (In Russ.)
 9. Stepanian, K.A. *Zagadki “smeshnogo cheloveka”* [The Mysteries of “Ridiculous Man”]. *Dostoyevsky i mirovaya kultura* [Dostoevsky and the World Culture]. St. Petersburg, 2014, No. 32, pp. 63–83. (In Russ.)
 10. Jackson, R. *Smeshnoy chelovek — posle Don Kikhota* [A Ridiculous Man — after Don Quixote]. Jackson, R. *Iskusstvo Dostoyevskogo. Bredy i noktyurny* [The Art of Dostoevsky. Deliriums and Nocturnes]. Moscow, Radix Publ., 1998, pp. 209–220. (In Russ.)
 11. *F.M. Dostoyevskiy v vospominaniyakh sovremennikov v 2 t.* [F.M. Dostoevsky in the Memoirs of his Contemporaries in 2 Volumes]. Moscow, 1990, Vol. 2. 623 p. (In Russ.)

REFERENCES